

Конст. Федин

*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ ТРЕТИЙ

БРАТЬЯ

Роман

НАРОВЧАТСКАЯ ХРОНИКА

ТРАНСВААЛЬ

Повести

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1960

Примечания
Б. БРАЙНИНОЙ

БРАТЪЯ

Роман

Прощай, прощай, и если
навсегда, то навсегда прощай!

Б а й р о н

Моей сестре —
Александре Александровне
Солониной

ОДНА НОЧЬ

Глава первая

Доктор Матвей Карев к пятьдесят четвертому году своей жизни устал от славы, от работы, от самого себя. Он был профессором, но не любил ни этого звания, ни самого слова «профессор». После обхода своего отделения в громадной, безнадежно грязной от ветхости больнице, после занятий со студентами, после визитов к больным он возвращался домой. И тут, почти всегда, — в сумраке большой, увешанной картинами приемной комнаты, — возникала перед ним зыбкая человеческая тень, и голос, исковерканный страхом, надеждой и лестью, падал ему навстречу:

— Профессор, ради бога!..

Тогда он горбился, голова его тяжелела, в серой мути сумерек еще снежнее делалась его седина, и он в двадцатый раз за день шел к умывальнику мыть руки.

Несколько лет подряд он складывал в книжный шкаф бювары, папиросницы, ножи для разрезания книг — золотой и серебряный мусор, исчищенный граверами, — складывал так, чтобы не попадалось на глаза слово *профессор*, засовывая вещи поглубже на книжные полки, за книги и альбомы.

Но все-таки на его столе громоздился нескладный письменный прибор с мемориальной доской из золота:

*В день двадцатипятилетия
ученой деятельности
профессора... —*

и на крышках чернильниц сидели корявые, непохожие на живых, божьи коровки из рубинов.

Иногда его вызывали в Москву, на консультацию к какому-нибудь больному, жизнью которого дорожили. Приезд его в Москву делался скоро известным, и два-три дня его возили по сутулым мостовым на извозчиках, и он так же, как дома, часто и подолгу мыл руки.

Дома его ожидали записочки, городские телеграммы и скучный рядок телефонных номеров, выведенный женской рукой в настольном блокноте.

Все случаи, по которым обращались к нему, бывали неотложны, он привык к этому и почти никогда не торопился, так что походка его давно уже стала грузноватой. В пятьдесят четыре года доктор Карев устал. Он полюбил домашние праздники, нечаянные семейные события, загородные поездки. Внезапно, вечером, он привозил с собой плетеную корзину, туго перетянутую шпагатом, набитую разнокалиберными свертками, пакетиками. Он сам смотрел за тем, как приготавлился стол, разворачивались розовые, голубые, серые бумажные картузы, открывались коробки и бутылки.

Потом, в передней комнате, он снимал с телефона трубку, говорил прислуге:

— Меня нет дома, — и шел в комнату дочери.

И вот, когда он вводил свою дочь в столовую и включал свет, когда дочь смешно всплескивала руками и вдруг угловато, по-ребячьи, бросалась к столу с криком:

— Папа! А инжир есть? В сахаре? — Доктор Карев стягивал на губы седые с прожелтью усы, точно стыдась улыбки, и глуховатым голосом загадочно говорил:

— Не знаю, что тут есть, посмотри.

И пока дочь перебирала коробки с ягодами и пряниками, он следил за ней пристально, и лицо его становилось покойней.

— Давай кутить, — говорил он.

Тогда начинался пир.

Бывал он хорош не миндалем и фисташками, дробно хрустевшими на молодых зубах, не рахат-лукумом, в котором сладко вязнул язык, и даже не ореховой халвой — этим вожделенным лакомством школьников.

В продолговатой, слегка похожей на коридор комнате, начинавшей уже дряхлеть, — с проржавленной лампой, с треснувшей облицовкой камина, — вдруг возникало волнение молодости. Все кругом беспричинно, неясно становилось смешным, все оборачивалось самой веселой, самой забавной стороной.

Весь вечер непрерывно доктор Карев мягко поводил толстыми губами под занавескою седых с прожелтью усов. И только на одну минутку пробежал по комнате сквознячок, когда Ирина, растягивая склеенные рахат-лукумом челюсти, картаво говорила отцу:

— А почему ты не позвал маму? Давай позове-
м? А?

Доктор утирал большой ладонью лицо, ото лба книзу, легкая попевота налетала на него вместе со сквознячком, и он отвечал, чуть медля:

— К ней кто-то пришел, кажется...

Потом снова все молодело.

Да, доктор Матвей Карев с каждым годом больше уставал, с каждым годом больше любил отдыхать. Вот почему семейные праздники в его доме бывали многолюдны и широки, вот почему именины его жены — Софьи Андреевны — устраивались на русский лад: с ужином, танцами, с превеликой стряпней на кухне, с разлитым морем настоек и водок, с чайными трешницами дворникам, швейцару, повару, кухаркам, с бестолочью, беготней, гамом, треском, грохотом — на всю долгую ночь, до зари...

Давно ли потеряли мы в переулках нашей памяти — так легко, словно обронили на проспекте перевязанную шпагатиком покупочку, — окаменело-возвы-

шенный облик Петербурга? Грозные, мятежные и смятенные годы счесали с Петербурга завитушки, пуговицы, папильотки, бантики, и город предстал перед нами в суровой своей наготе. Поблекло, омертвилось великолепие фасадов, застыли обмороженными пальцами недвижимые краны верфей, гавани, порта, и люди, скрюченные холодом, торопились оголить окоченелый город там, где он был еще прикрыт.

Но нет такого испытания, нет запрета, которые поколебали бы людскую веру в воскресение, и люди верили, что город воскреснет, — и — каждому по вере его — город воскрес. Он зашевелил окоченелыми пальцами — со ржавым свистом повернулись краны верфей, он начал дышать, и редкой испаринкой отделились от него дымки и поплыли в рассвет.

И вот уже из всех щелочек, скважин и трещин, с василеостровских задворков, величественных своими фасадами, лопухами и крапивой, с молочно-бидонной, сыроварной Охты, из деревянного Лесного, из подворотен дворцов и разбитых окошек Рот, — отовсюду полез, повыполз, посочился старомодный, недавно упраздненный Петербург.

Где хоронились завитушки, бантики, папильотки, пуговицы? В каких сундуках были попрятаны, каким нафталином пересыпаны шевиотовые сак-пальто, убранные кружевцами наколочки, департаментские сюртуки, путейские диагональные брючки? Кто извернулся в сыпно-тифозные, застуженные вьюгами, измятые голодом и санитарной каретой дни и ночи, кто извернулся уберечь всю эту нафуфыренную ветошь, от умиления перед которой разорвалось бы сердце бессмертной калужской просвиры?

Но уже наступают фаланги модисток, закройщиков, портных, уже выгарцевала снежно-полотняная кавалькада парикмахеров, неслышно просеменили, подергивая хвостиками салфеток, полки официантов, и россыпью отмаршировали музыкантские команды приказчиков: так-с, нет-с, да-с! так-с, нет-с, да-с!

— Переделать? Перелицевать? Приспособить?

— Одеколон? Вежеталь? Попудрить?

— Филе-соте? Шато-икем?

— Так-с, нет-с, да-с!

И вот по заплатам торцам проспектов надвигается танкоподобная колымага, обложенная тортами и пирогами, в цветочных горшках, опоясанных крашеной плетенкой, в гортензиях и гиацинтах, и под обсахаренным кренделем, закрученным в гигантскую восьмерку и благостно висящим в небесах, триумфально восседают всероссийские Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Они слегка реставрированы, — стародавние вековушки, — но мудрено не поверить в их подлинную молоджавость, глядя на лоск полированных ноготков или вдыхая свежесть rouge pour les lèvres¹.

О, этот вечер, перед закрытием лавок и пассажиров, эта судорожная минута евхаристии, это преддверие, предчувствие торжественной ночи! Трясущейся рукой доцарапывает золотых дел мастер сакраментальную цифру на сахарнице или солонице; в кондитерской укладывают сто сороковой фунт пралине в коробку с «Березовой рощей» Куинджи; в цветочном магазине исколотыми пальцами насаживают на проволочку дохлые папоротники; фруктовщик, как скульптор, в последний раз оглядывает корзину с яблоками, виноградом и перевертывает персик гнилым бочком вниз.

Кончено. Закрыты двери, навешены решетки, повернут ключ.

Голубые, розовые, белокипенные именинницы ждут гостей.

Оголтелые трамваи перебрасывают из конца в конец города перешитое, перелицованное, приспособленное и попудренное человечество. С Выборгской стороны в Гавань, с Аптекарского острова на Пески. Даже какой-нибудь новодеревенский отец Геннадий, пребывавший круглый год в состоянии анабиоза, медленно оживает и — во благовремении, купно с матушкой, охраняемый законом республики, — движется, подобно ледоколу, взяв некий твердый курс...

Софье Андреевне Каревой в тот день некогда было поглубже вздохнуть. Усилия всего дома были

¹ Губная помада (франц.).

устремлены к воображаемому, идеальному порядку, в котором должны были бы протекать именины. В доме делалось решительно все, что могло бы с честью войти в энциклопедию российских празднеств. Но каждый понимал порядок по-своему, хватался то за одно дело, то за другое, хозяйничал, суетился за свой страх. И вдруг обнаруживалось, что ничего больше нельзя сделать, что поздно, что множество необходимейших вещей так и останется недоделанным, что гости водопадом рушатся в столовую, что выпита первая смена графинов, расковыряны вилками осетры, сиги и салаты и что сам Матвей Карев, во главе дрессированного табунка молодых докторов и студентов, вот-вот прослезится.

— Тиш-ше, тиш-ш!

— Чш-ш! Матвей Василич говорит! Т-ш-ш!

Звенькают ножи по тарелкам, переливается колокольцами хрустальная посуда, нетерпеливо погромыхивают на паркете подбитые, ради праздника, набойки студенческих башмаков.

— Т-ш-ш! Ч-ш-ш! Матвей Василич!

— Что ж, господа, — тихо говорит хозяин, опираясь о краешек стола угловатыми костяшками пальцев, — что ж?..

Он стоит, чуть сгорбленный, в старом черном сюртуке, сидящем на нем так, как сидят только докторские, профессорские сюртуки — будто снисходя к общественным предрассудкам, бочком, одним лацканом чуть пониже, на домашний лад. Под усами его и в глазах зыблется смешок, и не понять — смеется ли Матвей Карев над своими словами, или над тем, как заглядывают ему в рот студенты, или над Арсением Арсеньевичем Бахом — ученым биологом и публицистом, который торчит из-за стола, напротив хозяина, каким-то сморщенным опенком.

— Что ж, господа, — повторяет Матвей Карев, — что я могу сказать? Вот давеча, в зале, Арсений Арсеньевич обмолвился, что-де в жизни все закономерно, а русский народ в революцию изменился-де ровно настолько, насколько он и должен был измениться. А я,

господа, даже думаю, что русский народ ни капельки не изменился.

— Ого! — прорывает кого-то после рюмки ерофеича.

— Я думаю, что по-прежнему есть хорошие и плохие люди и что, как мы ни стараемся испортить русский народ, ничего у нас из этого не выходит.

— Святая истина, Матвей Василич! — кричит звонкий, рассчитанный на большую сцену тенор.

Арсений Арсеньевич сосредоточенно проживывает ветчину. Кажется, что он жует не челюстями, а всем лицом. Оно разбито у него продольными и поперечными морщинками на мельчайшие участки. Ромбики, квадратики, прямоугольнички тонкой желтой кожи шевелятся на лице и в сложнейшей машинной последовательности. От поджарых губ движение передается щекам, со щек наползает на виски, с висков проносится по лбу стремительную рябью и, растаяв на высокой лысине, точно obeжав вокруг головы, снова появляется на губах.

Арсений Арсеньевич внимательно глядит на Карева. Изредка соседи с робкой любезностью подкладывают на его тарелку кусочек ветчины. Не поворачиваясь, привычно-прямо взметнув свой профиль, Арсений Арсеньевич благодарит за ветчину величаво и торжественно, словно приняв диплом какой-нибудь заграничной академии. Он давно знает Матвея Карева, знает весь этот дом, с его прославленной хлебосольной бестолочью, с его ритуалом речей и тостов, со всеми слабостями немного путаных, смешных, но — в сущности — хороших стареющих людей.

Он знает, что Матвею Кареву будут мешать говорить, что в его речи все чаще и чаще замелькают слова «русский народ», он растрогается, отуманенными, добрыми глазами — вот так — будет глядеть только на одного Баха, а сам Бах — вот так — будет отвечать на его взгляд сочувственным, несогласным, но довольным взглядом.

Потом Матвей Карев грузновато опустится на стул, поднимет большую рюмку, с понимающей улыбкой

кивнет Баху и размахнет указательным пальцем слезу...

Тогда вокруг Арсения Арсеньевича зашестинится сначала почтительный, потом настойчивый, назойливый шумок, стул его окружат полные, зарозовевшие дамы и оставленные при кафедре общей терапии доктора и, все больше наклоняясь к нему, почитатели талантов и каревского гостеприимства станут требовать:

— Несколько слов, всего несколько слов, Арсений Арсеньевич! Пожалуйста! Т-ш-ш!

Засушенной и морщинистой, как лицо, рукой Арсений Арсеньевич миротворно, но с решимостью отклоняет просьбы:

— Нет, зачем же? Ведь мы собрались повеселиться.

И на манер человека, понимающего толк в веселье, говорит:

— Давайте лучше выпьем, закусим... вот передайте мне, пожалуйста... ветчину!

Он глотает рюмку водки, какой-то смерч пронесется по его ромбикам, квадратикам, прямоугольникам, губы страдальчески суживаются и вдруг — стертые меловой белизной лица — пропадают. И только большие, немного выпяченные глаза застенчиво улыбаются, словно говоря: «Уж вы простите меня, что я такой морщинистый, невзрачный и сухой, что я не совсем подхожу для ужина и меня вряд ли что позабавит в нашей любительской программе».

— Пусть скажет Софья Андреевна, — предлагает он.

Это случается при самых дверях всеобщего единодушия, когда холодными закусками умерены аппетиты и на буфете за клубился пахучий парок соусов. В треске и звоне сменяемых тарелок поднимается хозяйка дома, именинница, Софья Андреевна.

Не слишком ли раскраснелись ее щеки? Так ли молоды глаза и рот? Неужели не стоило усилий взбить волосы с такой легкостью, таким задором?

— Господа, — произносит Софья Андреевна, и рука ее дрожит, чуть-чуть отплескивая белое вино из стакана на пальцы.